Так бывает в юности: случайная встреча с человеком всего на несколько лет старше тебя быстро перерастает во взаимную приязнь и дружбу, где один так и остается наставником, умудренным жизнью Учителем, а другой — с удивительной духовной жаждой поглощает знания, воспринимает уроки нравственности и добра. И, кажется, этой дружбе нет никаких преград. Но вдруг смерть идущего впереди заставляет младшего мужать и брать на себя всю тяжесть бытия. Вчитаемся в строки Тургенева, написанные уже после трагической развязки:

«Станкевич! Тебе я обязан моим возрождением: ты протянул мне руку — и указал мне цель... и если, может быть, до конца твоей жизни ты сомневался во мне, пренебрегал меня, быть может, — что я заслужил моими бывшими мелочами и надутыми порывами, — ты теперь меня всего знаешь и видишь истинность и бескорыстность моих стремлений. Благодарность к нему — одно из чувств моего сердца, доставляющих мне высшую отраду»[1].

...Помните строки из «Евгения Онегина»:

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

И.С. Тургенев в юности

Орловский уроженец Иван Тургенев приехал в Берлин на учебу в девятнадцать лет. Сегодня в этом возрасте за плечами у молодого человека разве что первый курс вуза. А юный Тургенев успел к тому сроку год поучиться в Московском университете и закончить университет Санкт-Петербургский. Но, на удивление, совсем не перестал считать себя школяром. Да, на студенческую скамью он впервые попал в четырнадцать лет (в порядке исключения, по личному разрешению самого министра народного просвещения). Но, наверное, возраст есть возраст: одно дело выучить урок и сдать экзамен, другое — по-житейски обстоятельно разобраться в науке, постичь смыслы и тайны, значения и сочетания... Он устремился в Берлин за мудростью, чтобы она помогла открыть мир и понять жизнь.

Это был конец весны 1838 года. Россия, погруженная в консервативную дремоту, в те годы жила ожиданием. Уже заслоились иными событиями тревожные, непредсказуемые новости декабря 1825 года, уже в потайной среде вольнодумцев начала формироваться оппозиция с двумя крыльями — революционным и либеральным. Начало либеральному крылу положил литературно-философский кружок, который образовался зимой 1831–1832 годов в Московском университете вокруг воронежского уроженца Николая Станкевича и продолжал действовать после того, как в 1834 году Станкевич окончил университет.

В кружке объединились очень разные люди: будущие славянофилы, западники, революционеры и даже охранители. Их роднил общий интерес к философии и литературе, а также обаяние личности Станкевича: «глубокая и изящная натура давала возвышенное направление всем окружающим»[2]. Поэт и философ, «живой идеал правды и чести», по словам его биографа П.В. Анненкова, Станкевич умел стимулировать творческие силы близких к нему людей. Именно он помог раскрыться таланту историка Тимофея Грановского, народного поэта Алексея Кольцова...

Философия была главным предметом дискуссий в кружке Станкевича. Изучались и обсуждались системы в основном немецких мыслителей — И. Канта, Ф. Шеллинга, И. Фихте и особенно Г. Гегеля, который был для всех кумиром. Дворяне тогда повально увлекались гегельянством. Один из будущих создателей Козьмы Пруткова А.М. Жемчужников сочинил тогда такую пародию:

В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума дворянская.

В 1836 году Чаадаев напечатал в журнале «Телескоп» первое из своих «Философических писем». Кстати, есть версия, что письмо это появилось в печати при содействии Станкевича, который передал текст определявшему содержание журнала Белинскому. Письмо, по словам А.И. Герцена, «потрясло всю мыслящую Россию». Вопреки идеологам «официальной народности», прославлявшим «великолепие» российской истории, Чаадаев показал (даже с чрезмерным нажимом), что история России мрачна, ее настоящее плачевно, а будущее грозит катастро-

фой. «В общем, мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений», — заключал Чаадаев. Власть ответила на это залпом репрессий. Однако предать забвению слово Чаадаева не удалось; оно «прозвучало подобно призывной трубе, — вспоминал Герцен. — Сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса».

В столице Пруссии пытливый студент Тургенев взялся за философию Гегеля. Благо, удалось не только решить все вопросы «устройства» в университете, но и встретить добрых знакомых, одним из которых был земляк Тимофей Грановский. Позднее Тургенев напишет в воспоминаниях: «Когда Грановский упомянул о приезде Станкевича в Берлин, я спросил его — не «виршеплет» ли это Станкевич, — и Грановский, смеясь, представил мне его под именем “виршеплета”»[3].

Тургенев запомнил тогда: «Станкевич был более нежели среднего роста, очень хорошо сложен — по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие карие глаза; взор его был очень ласков и весел; нос тонкий, с горбиной, красивый, с подвижными ноздрями, губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами; когда он улыбался — они слегка кривились, но очень мило, — вообще улыбка его была *чрезвычайно* приветлива и добродушна, хоть и насмешлива; руки у него были довольно большие, узловатые, как у старика; во всем его существе, в движениях была какая-то грация и бессознательная благовоспитанность — точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении»[4].

Как вспоминал Тургенев, в течение зимы он довольно часто виделся со Станкевичем, но сам Станкевич его не очень-то жаловал — гораздо больше знался с Грановским и Януарием Неверовым. Тургенев признавался: «Я очень скоро почувствовал к нему уважение и нечто вроде боязни, проистекавшей, впрочем, не от его обхожденья со мною, которое было весьма ласково, как со всеми, но от внутреннего сознания собственной недостойности и лживости... невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение»[5].

Станкевич часто ходил в театр, особенно охотно посещал немецкую оперу. Вообще в его характере было много веселости, он любил посмеяться (вплоть до фарса), что, кстати, было не чуждо и Тургеневу. Ироничное отношение к окружающей действительности так или иначе сближало их. Тем более, что Тургенев, действительно был еще очень юн. К примеру, во время загородной прогулки мог запросто, по-мальчишески заняться ловлей ящериц...

В своей книге «Тургенев»[6], вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», литературовед Ю.В. Лебедев упомянул имя Станкевича 80 (!) раз. Ключевым в духовном развитии будущего классика он считает общение со Станкевичем, который был старше него на пять лет. Лебедев пишет: «Философские диалоги, возникавшие между Станкевичем и Грановским, на первых порах озадачивали Тургенева: к великому смущению своему, он понял, что не в состоянии поддерживать эти разговоры на таком уровне, на каком их ведут его приятели»[7].

— Грановский! — восклицал Станкевич. — Поверишь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Человек есть житель земли, не чуждый физических потребностей, но он же есть и последнее высшее звено в цепи создания. Его сфера — дух, и все физически натуральное в нем должно быть согласно с духом[8].

«Односторонность своих друзей, целиком уходящих в толкования отдельных параграфов и пунктов гегелевского учения, и восхищала Тургенева, вызывая в нем тайную зависть, и одновременно отталкивала его. Временами среди ученей-

шего разговора на какую-нибудь философскую тему о «становлении», «бытии», «сущности», Тургенев сознательно произносил глупость, первую пришедшую ему на язык, что вызывало со стороны умных и серьезных друзей упреки в легкомыслии, не лишенные известных оснований. Тургенев признавался, что некоторые обороты речи его приятелей вообще представлялись ему бессмыслицей. Но со временем философские диалоги Станкевича, Грановского, Неверова уже не казались Тургеневу непроходимыми дебрями. Безусловно, здесь свою роль сыграли лекции профессора Вердера и, конечно, наставничество соотечественников»[9].

Гегель, Кант, Шеллинг... Русские юноши едва ли не молились на этих патриархов философии. Казалось бы, разве мало в том мире было куда более простых вопросов и истин? Разве в той же матушке-России не оставалось простора для пытливой мысли, призванной дать ответы на извечные «Кто виноват?» и «Что делать?». Но дворянские отпрыски, сыны русских помещичьих фамилий «роем кружились» вокруг абсолютно абстрактных идей, рожденных в головах немецких созерцателей. Загадка? А, может быть, просто день первый в зарождении национальной русской интеллигенции?

Примечательно, что в Берлине, на вечерах в доме Фроловых, куда постоянно ходил юный Тургенев, более старшие Станкевич, Грановский и их друзья говорили уже не только о всемирном духе, но и о судьбе родного Отечества. По воспоминаниям участников кружка, здесь «шла речь о преимуществах народного представительства в государстве», о доступе народа ко всякой государственной деятельности. Отмена крепостного права, просвещение широких народных масс.... Как вспоминал Неверов, Станкевич взял торжественное обещание, что все свои силы они посвятят этой высокой цели.

Однажды Тургенев заявил Станкевичу, что подлинная благодать заключается в отрицании: им жизнь движется вперед, — а в доказательство привел образ Мефистофеля из «Фауста» Гете. Станкевич тогда не удержался от спора (эти слова потом вошли в роман «Рудин»):

— Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стоите выше того, что отрицаете. А часто это неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна, а, во-вторых, если даже вы и дело говорите, вам же хуже: ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет и сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания; сущность жизни ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить. Порицать, бранить имеет право только тот, кто любит.

Неожиданно Россия напомнила о себе берлинским любомудрам: в самом начале мая 1839 года у Тургеневых в Спасском-Лутовинове сгорел усадебный дом. Варвара Петровна послала сыну на дорогу две тысячи рублей и потребовала срочно вернуться домой. Она писала: «Кажется, тебе нечего делать в Берлине. Я и прежде об этом писала. А нынче я требую, чтобы ты приехал, не мешкая... Я бы не желала приказывать. — Но! нечего делать. Я не в силах тебя более содержать за границей. О!.. Нет!.. Нет!.. Не то, не то, как не в силах, боже мой, неужели я отниму от тебя твою карьеру... О!.. Мне нужно, мне необходимо видеть тебя, как можно, как возможно скорее, я упала духом... И так на пепелище, по сих пор дымящемся. Ружье твое цело. А собака твоя очумела»[10].

Станкевич, как мог, поддерживал потрясенного Тургенева. Титул младшего сына налагал на того особые обязательства перед матерью. Он «по закону» обязан был заботиться о ней и опекать.

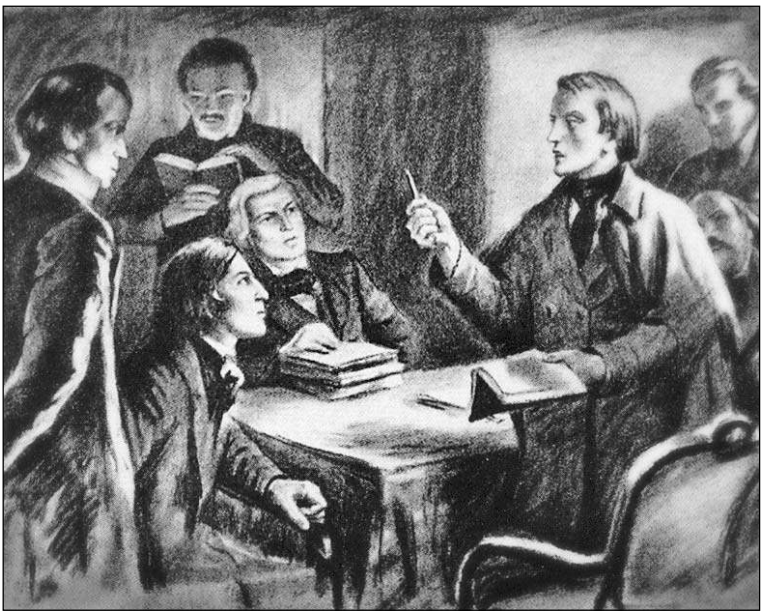
Молодые любомудры тепло попрощались, надеясь на скорую встречу. Но недолгим было пребывание юного дворянина на пепелище. Матушка уговаривала его поехать в Санкт-Петербург и сдать экзамен на степень магистра. В северной сто-

лице Тургенев входит в литературные круги: общается с Гоголем, Жуковским, Никитенко, дважды встречает Лермонтова. И совсем забывает об экзаменах и надеждах матушки, когда в январе 1840 года дипломат Павел Кривцов предлагает совместную поездку в Рим. Дело в том, что уроженец Болховского уезда Орловской губернии, брат бывшего воронежского губернатора Кривцов был назначен на только что учрежденную должность начальника над русскими художниками в Риме. Николай I разрешил ему иметь собственную канцелярию и секретаря. В секретари просился Николай Гоголь, но безуспешно.

Отправляясь из Петербурга в Рим, 33-летний Кривцов взял в спутники Ивана Тургенева (вполне возможно, посулив столь приманчивую должность секретаря). Но, видимо, что-то сложилось не так, как виделось каждому. В итоге секретарем стал племянник Кривцова по фамилии Сомов, а Гоголю была предложена должность библиотекаря, но тот отказался. Гоголь писал потом о Кривцове: «Любит только самого себя»[11]. А вот слова Тургенева о Кривцове: «поверхностно насмешливый, презирающий философию и честолюбивый, — впрочем, добрый, родной, упрямый по слабости, профан в художестве»[12]. Кривцову были свойственны фамильярность с художниками и угодничество перед сильными мира сего[13]. А секретарь Сомов вскоре подвел дядюшку — с деньгами и ценным имуществом миссии попросту сбежал в Америку. Оглядываясь на эту историю, задумываешься: хорошо, что рядом с молодым Тургеневым в Италии был все-таки не Кривцов.

Тургеневу несказанно повезло, об этом он несколько месяцев спустя написал другу: «В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет — начало развития моей души! Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение Истине своим примером, Поэзией своей жизни, своих речей!»[14].

Из воспоминаний Тургенева: «Я встретил его в начале 1840 года в Риме. Здоровье его значительно стало хуже — голос получил какую-то болезненную сиплость, сухой кашель часто мешал ему говорить. В Риме я сошелся с ним гораздо теснее,



Кружок Станкевича

чем в Берлине, — я его видел каждый день — и он ко мне почувствовал расположение... Мы разъезжали по окрестностям Рима вместе, осматривали памятники и древности. Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя чувствовал; но дух его никогда не падал, и все, что он ни говорил — о древнем мире, о живописи, ваянии и т.д., — было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости...

Станкевич несколько раз осаживал меня довольно круто, чего он в Берлине не делал — в Берлине он меня чуждался. Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких нишей, в которых до сих пор сохранились остатки подземного богослужения христиан в первые века христианства, я воскликнул: «Это были слепые орудия провидения». Станкевич довольно сурово заметил, что «слепых орудий в истории нет — да и нигде их нет».

В другой раз перед мраморной статуей св. Цецилии я проговорил стихи Жуковского:

И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя.

Станкевич заметил — что плохо тому, кто *по привычке* любуется прелестью, да еще в такие молодые годы»[15].

И еще отрывок из воспоминаний Тургенева: «Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было... В нем была наивность, почти детская — еще более трогательная и удивительная при его уме... Он был очень религиозен — но редко говорил о религии»[16].

А вот что писал Станкевич друзьям: «Тургенев обыкновенно рисует свои фантазии и очень удачно. Вчера я давал ему библейские темы, например: Адам, который не знает, что ему делать, и проч... Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо — ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую плел у Вас. Право, он умен! Не говорю о степени — он молод, может, и вообще не прыток, но все-таки умнее, чем мог казаться»[17].

Тургенев рассказывал о пожаре спасского дома, о противоречивых чувствах, которые он испытывал к родовому гнезду. Станкевич понимающе кивал, но в ответ на одну резкую фразу Тургенева по поводу России и российской дворянской семьи внушительно сказал:

— Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на пути... От этого избави вас Боже, Тургенев! Впрочем, вы слишком знаете цену себе, чтоб допустить возможность такого существования[18].

Они ходили вместе по развалинам Колизея, смотрели на древние гробницы. А еще были храм святого Петра, галереи, музеи... Неординарные суждения Станкевича об истории и искусстве не мешали восприятию увиденного, а, напротив, раскрывали внутреннюю красоту и смысл творчества в самой непостижимой его глубине (Тургенев вспоминал: «Все, что он говорил, было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости»).

Они долго стояли перед «Моисеем» Микеланджело.

— Что за художник! — воскликнул Станкевич. — У него один идеал — сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукой! Какая свобода и в то же время отчетливость в исполнении!

В Ватикане Станкевич остановился перед статуей Аполлона Бельведерского.

— Что после этого абстрактная сила Микеланджело? — говорил он. — Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах.

О чем только ни говорили они во время этих удивительных прогулок! Например, о Пушкине, которого Станкевич очень любил. Или о Белинском (Станкевич отзывался о нем хотя и дружественно, но несколько насмешливо). Много шутили, несмотря на недуги Станкевича. Сочиняли каламбуры и юмористические стихи, которые посылали друзьям. Тургенев тогда брал уроки у немецкого художника Рунда и обнаружил незаурядные способности рисовальщика. Станкевич особенно одобрял его шаржи, более того, «задавал разные забавные сюжеты — и очень этим потешался»[19].

Влияние Станкевича на рождавшийся талант Тургенева было неоценимо. После провинциальной жизни и школярства, метаний, стихийных увлечений Тургенев по-иному стал смотреть на мир. Он писал тогда Грановскому: «Со мною случилось то же, что с бедным человеком, получившим огромное наследство... Целый мир, мне не знакомый, мир художества — хлынул мне в душу... Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был для меня только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи»[20].

Уже в Берлине Тургенев получил от А.П. Ефремова печальное известие о смерти Станкевича в июне 1840 года. Пересылая это письмо орловскому другу, Тургенев восклицал: «Нас постигло великое несчастие, Грановский. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой... Отчего не умереть другому, тысяче других, мне, например?.. Но нет — мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь — дадим друг другу руки, станем теснее: один из наших упал — быть может — лучший. Но возникают, возникают другие... и, рано ли, поздно — свет победит тьму»[21].

Смерть Станкевича так глубоко потрясла Тургенева, что он поставил под сомнение разумность мироздания. В таком смятении застал его старый друг Станкевича Михаил Бакунин. Так влияние Станкевича на Тургенева неожиданно сменилось сухой диалектикой Бакунина.

Тургенев писал позднее Бакунину: «Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом; с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна, прекрасное — знакомое — и незнакомое явление: ему отрадно и легко, и он верит в достижение цели... У меня на заглавном листе моей «Энциклопедии» написано: “Станкевич скончался 21-го июня 1840 г.”, а ниже: “Я познакомился с Бакуниным 2-го июля 1840 г.”»[22]. Истины ради заметим, что даже классики бывают не совсем точны в рассказе о самих себе. По счастью, упомянутая книга «Гегель. Энциклопедия» (Берлин, 1830–1832) уцелела в бурях двух столетий и хранится ныне в фондах Орловского литературного музея И.С. Тургенева. Его рукой там сделаны две надписи на немецком языке: «Н. Станкевич умер 24 июня 1840 года. Познакомился с М. Бакуниным 24 июля 1840 года»[23].

В ответ на терзания Тургенева в связи со смертью Станкевича Бакунин писал: «Пойми, Тургенев, точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти он найдет свою жизнь, свое гнездо»[24]. В письме к родным Бакунин так развивал ту же мысль: «Станкевич, этот святой, возвышенный человек, нас оставил. Я не знаю как, но его смерть не подавляет меня, напротив, в ней есть нечто возвышающее, внушающее веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами, он передал нам священное назначение и безмер-

но глубокую загадку своей жизни как единственную цель, к которой мы все должны стремиться»[25]. По канонам гегелевской философии, воскрешая дух Станкевича в бесконечной истине, Бакунин убеждал себя и родных в бессмертии общего друга.

Прошло несколько лет, и круг друзей очень изменился. В 1842 году Тургенев познакомился с Белинским, о котором так много слышал от Станкевича. В Москве главным толкователем немецкой философии стал Бакунин, а Грановский — главным «западником». В его кружке уже не вели отвлеченные философские беседы. Говорили все больше об исторических судьбах России, перспективах ее развития, резко противопоставляя себя славянофилам. Такое жесткое противоречие озадачило Тургенева: слишком все это не походило на то, что он видел в Берлине; там царили единодушие, взаимопонимание, общий интерес, там все шли к одной цели, по одному пути, вслед за личностью Станкевича. Теперь члены некогда дружного кружка расходились на разные стороны баррикад.

Немудрено, что эти «новшества» вели к разочарованию Тургенева. Герой его рассказа «Гамлет Щигровского уезда» (1849) «пришибленный судьбой» неудачник, вспоминая свои студенческие годы, произносит гневную филиппику, направленную против «самого ужасного из всех ужасов — кружка в Москве». Устами своего героя Тургенев разбил в пух и прах кружки за рутинность, узкий круг интересов, «бесплодную болтовню, пошлость и скуку под именем братства и дружбы».

Подобный взгляд на совсем недавнюю историю готовы были тогда разделить далеко не все. Правовед и философ Борис Чичерин в своих воспоминаниях привел такой эпизод: «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка, без сомнения, имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было свежих сил, какая живость умственных интересов, как они сближали людей, сколько в них было поддерживающего, ободряющего, возбуждающего! Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев согласился с этим замечанием»[26].

Вскоре писатель снова обратился к незабываемой поре. Образ Станкевича и атмосфера его кружка запечатлены в романе «Рудин» (1856) в образах Покорского и его друзей. Тургенев признавался: «Когда я изображал Покорского, образ Станкевича носился передо мной — но все это только бледный очерк». Заметим, что реальным прототипом Покорского был не только Станкевич. Здесь есть и черты Белинского, неистового Виссариона. Устами своего героя Лежнева автор произносит: «Я тогда находился весь под его влиянием, и это влияние, скажу без обиняков, было благотворно во многом. Он первый не побрезгал мною, обтесал меня. Покорского я любил страстно и ощущал некоторый страх перед его душевной чистотой». Герой Тургенева «вспоминал наши сходки», в которых было «много хорошего, даже трогательного... Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы все на наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии... А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные и трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе... Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и бли-

же стали, и понятнее... Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, — не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом».

Литературный критик Павел Анненков, не знавший лично Станкевича, при составлении биографии пользовался его перепиской и рассказами друзей. Но ему не хватало живых бытовых деталей, характеризующих Станкевича и его окружение, впечатлений от его внешности, манеры держаться, говорить и т.д. Все это мог дать ему Тургенев. И поэтому Анненков попросил Тургенева написать воспоминания о друге.

Мемуарные заметки о Станкевиче были написаны, по всей вероятности, в Спасском-Лутовинове в конце весны — середине лета 1856 года. Они стали подсобным материалом для биографического очерка, напечатанного в журнале «Русский вестник», а затем вошли в книгу «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П.В. Анненковым» (М., 1857). Заметим, что Анненков многое заимствовал из написанного без упоминания имени Тургенева.

Тургенев очень интересовался ходом работы Анненкова и не раз спрашивал в адресованных тому письмах: «А что биография Станкевича — когда выйдет?» (январь 1857 г.); «Да, кстати, что же издание писем Станкевича? Подвигается?» (март 1857 г.); «я с истинным нетерпением ожидаю статьи о Станкевиче» (март 1857 г.). По прочтении первых двух статей о Станкевиче в «Русском вестнике» Тургенев, воздавая «хвалу» Анненкову, писал ему в апреле 1857 года: «Вы воскресили мне его светлое лицо, Вы перенесли меня во времена моей молодости, весь смысл его жизни угадан, верно, тонко передан — спасибо!.. Да издайте, ради бога, скорее эти письма. Я уже их обещал (Л.Н.) Толстому, который будет упиваться ими, за это я ручаюсь»[27].

Тургенев деликатно, однако упорно и настойчиво пытался привить Толстому интерес к личности Станкевича и Белинского, Герцена и Огарева. Когда Толстой по настоянию Тургенева познакомился с только что опубликованными Анненковым письмами Станкевича, он сказал:

— Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы в глазах — я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать... И зачем? За что мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо.

Еще не раз Тургенев возвращался к воспоминаниям юности. В повести «Призраки» (1863), он воспроизвел эпизод, рассказанный в воспоминаниях о Станкевиче, — воззвание, обращенное к Юлию Цезарю среди римских развалин («эхо отозвалось будто стоном. Станкевич, который до того времени был разговорчив и весел, вдруг побледнел, умолк и погодя немного проговорил с каким-то странным выражением: “Зачем вы это сделали?”»[28]). В повести «Несчастная»(1868) Тургенев вывел Станкевича в лице «студента-поэта».Сюжет повести возник из рассказа Станкевича в его письме к Я.М. Неверову: о трагически погибшей девушке Эмилии, приемной дочери московского музыканта Ф. Гебеля. Четыре строки из посвященного ей стихотворения Станкевича «На смерть Эмилии» приведены в тексте последней главы повести...

Много лет спустя Николай Некрасов вспоминал о 1840-х годах:

...Не забыл,
Я думаю, ты истинных светил,
Отметивших то время роковое:
Белинский жил тогда,
Грановский, Гоголь жил,
Еще найдется славных двое-трое —
У них тогда училось все живое.

Одним из этих очень немногих и был в то время Станкевич.

Даже теперь, почти два века спустя, не хочется банальностей, вспоминая эту незаурядную личность. Не хочется и столь обычных сожалений по поводу безвременных потерь. Давайте просто еще раз задумаемся о том, что значат в нашей быстротекущей жизни незабываемые друзья юности. Многим ли дано такое счастье, какое выпало Ивану Тургеневу, который в странствиях за тридевять земель встретил человека родственной души Николая Станкевича?

СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Письма в 18-ти тт. Т. 1. М., 1982. С. 163.

[2] Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. II. Воспоминания Б.Н. Чичерина (Москва сороковых годов) / Сост. С.Л. Чернов. М., 1991. С. 122.

[3] Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Сочинения в 12-ти тт. Т. 5. М., 1980. С. 360.

[4] Там же.С. 365.

[5] Там же. С. 360, 364.

[6] Лебедев Ю.В. Тургенев. М., 1990 (серия «Жизнь замечательных людей»).

[7] Там же. С. 80.

[8] На эту тему см. письмо Станкевича Грановскому от 29 сентября 1836 г. // Анненков П.В. Н.В. Станкевич. Переписка его и биография, написанная П.В. Анненковым (переиздание). Воронеж, 2013. С. 230.

[9] Лебедев Ю.В. Тургенев. С. 84.

[10] «Твой друг и мать»: Письма В.П. Тургеневой к И.С. Тургеневу (1838–1844). Тула, 2012. С. 201.

[11] Гершензон М.О. Братья Кривцовы. М., 2001. С. 226.

[12] Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Письма в 18-ти тт. Т. 1. М., 1982. С. 162.

[13] Гершензон М.О. Братья Кривцовы. М., 2001. С. 227.

[14] Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Письма в 18-ти тт. Т. 1. М., 1982. С. 162 – 163.

[15] Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче. С. 362–364.

[16] Там же. С. 364–365.

[17] Станкевич Н.В. Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. М., 1914. С. 692.

[18] Смысл этой фразы взят автором из письма Станкевича родным (август 1830 г.). См.: Станкевич Н.В. Избранное / Сост. Г.Г. Елизаветина. М., 1982. С. 240.

[19] Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче. С. 365.

[20] Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Письма в 18-ти тт. Т. 1. М., 1982. С. 154.

[21] Там же. С. 156, 158.

[22] Там же. С. 163–165.

[23] Тургениана: сб. статей и материалов. Орел, 1991. С. 50.

[24] Цит. по: Лебедев Ю.В. Указ. соч. С. 105.

[25] Там же.

[26] Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. II. Воспоминания Б.Н. Чичерина (Москва сороковых годов) / Сост. С.Л. Чернов. М., 1991. С. 11.

[27] Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти тт. Письма в 18-ти тт. Т. 3. М., 1987. С. 219.

[28] Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче. С. 363.